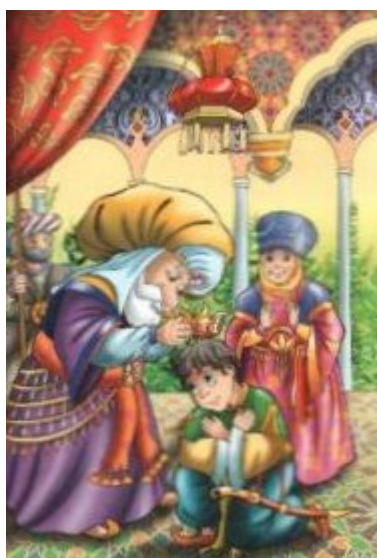


Жил однажды на свете скромный портновский подмастерье по имени Лабакан, и учился он своему ремеслу у опытного мастера в Александрии. Никто не смел сказать, что Лабакан неискусно владеет иглой, наоборот, он умел выполнять очень тонкую работу, и несправедливо было бы назвать его лентяем, но какой-то был в нем изъян: то он часами шил не отрываясь, так что игла накалялась у него в руке и начинала дымиться нитка, а работа получалась лучше, чем у кого угодно. А в другой раз, и, к сожалению, это случалось чаще, он сидел в задумчивости, устремив неподвижный взор вдаль, и вид у него был такой странный, что его хозяин и прочие подмастерья говорили, глядя на него, не иначе как: «Лабакан опять напустил на себя знатный вид!»

По пятницам же, когда люди спокойно возвращались после молитвы домой к своим делам, Лабакан в красивом наряде, который он приобрел ценой больших трудов и лишений, выходил из мечети и медленно гордой поступью прогуливался по площадям и улицам города. Когда же при встрече кто-либо из его приятелей говорил ему: «Мир тебе!», или: «Как поживаешь, друг Лабакан?» – он милостиво махал рукой или в крайнем случае важно кивал головой. Если тогда хозяин шутя говорил ему: «В тебе, Лабакан, погиб принц», – он радовался и отвечал: «Вы тоже это заметили?», или: «Я сам давно так думаю!»



Так скромный портновский подмастерье Лабакан вел себя долгое время, но хозяин терпел его дурость, ибо, в общем, он был человек хороший и работник исусный. Но вот однажды Селим, брат султана, который проезжал как раз через Александрию, прислал портному свою праздничную одежду для какой-то переделки, и хозяин дал ее Лабакану, ибо тот обычно выполнял самую тонкую работу. Когда вечером хозяин и подмастерья разошлись отдохнуть от дневных трудов, какая-то непреодолимая сила привела Лабакана обратно в мастерскую, где висела одежда государева брата. Долго стоял он в раздумье перед ней, любясь то блеском вышивки, то переливами бархата и шелка. Он не мог преодолеть в себе искушение ее примерить, и глядь – она была словно по нему сшита. «Ну, чем я не принц? – вопрошал он себя, шагая взад и вперед по комнате. – Разве сам хозяин не говорил, что я рожден быть принцем?» Вместе с одеждой к подмастерью как будто пристали и царственные повадки; он не на шутку вообразил себя самым подлинным принцем и, в качестве такового, решил отправиться в дальние края, покинув то место, где люди, по глупости своей, не могли отгадать под скромной оболочкой его прирожденное достоинство. Великолепная одежда словно была ниспослана ему доброй феей, поэтому он не пожелал пренебречь столь ценным подарком, собрал всю свою убогую наличность и вышел под покровом темной ночи из ворот Александрии. Повсюду на своем пути новый принц возбуждал всеобщее удивление, ибо великолепная одежда и строгая, величавая осанка совершенно не подходили для пешехода. Когда его об этом спрашивали, он обычно принимал таинственный вид, отвечая, что у него на то имеются особые причины. Однако, убедившись, что пешеходное странствование делает его смешным, он купил по дешевке старую клячу, которая вполне его устраивала своим невозмутимым спокойствием

и кротостью, никогда не вынуждая казаться искусным наездником и тем попадать в неловкое положение, ибо в этом деле он не был силен.

Однажды, когда он шаг за шагом тащился на своем Мурфе, – так назвал он старую клячу, – к нему присоединился какой-то всадник и попросил разрешения продолжать путешествие вместе, – ведь дорога в беседе всегда кажется короче. Всадник, веселый юноша, был красив собой и приятен в общении. Он завязал с Лабаканом разговор о том о сем, и вскоре выяснилось, что он, как и портной, пустился в путь без определенной цели. Он сказал, что зовут его Омаром и что он племянник несчастного каирского паши Эльфи-бея и путешествует, дабы выполнить приказание, данное ему дядей на смертном одре. Лабакан рассказал о своих обстоятельствах не столь чистосердечно, дав только понять, что происхождения он высокого и путешествует ради собственного удовольствия.



Молодые люди пришлись друг другу по вкусу и продолжали путь вместе. На второй день их совместного странствия Лабакан спросил у своего спутника, какое приказание надлежит ему выполнить, и, к своему удивлению, услышал следующее: Эльфи-бей, каирский паша, воспитывал Омара с самого его раннего детства, и тот совсем не знал своих родителей. Но вот когда на Эльфи-бея напал неприятель и он, после трех неудачных битв, смертельно раненный, вынужден был бежать, он открыл своему питомцу, что тот вовсе не его племянник, а сын могущественного государя, который, из страха перед предсказаниями своих звездочетов, удалил от себя юного принца, дав клятву, что увидит его только в день, когда ему исполнится двадцать два года.

Эльфи-бей не назвал имени его отца, а только строго наказал ему: в четвертый день будущего месяца рамадана, в день, когда ему исполнится двадцать два года, явиться к знаменитой колонне Эль-Зеруйя, в четырех днях езды на восток от Александрии; там он увидит людей, которым вручит данный ему Эльфи-беем кинжал, сказав: «Я тот, кого вы ищете». Если они ответят: «Хвала пророку, сохранившему тебя», то он должен следовать за ними и они приведут его к отцу.

Портновский подмастерье Лабакан был очень удивлен этим рассказом; отныне он стал смотреть на принца Омара завистливыми глазами, досадуя на то, что судьба даровала Омару еще и звание государева сына, хотя он уже считался племянником могущественного паши, меж тем как его, обладавшего всем, что отличает принца, она, словно в насмешку, наделила убогим происхождением и заурядным жизненным путем. Он сравнивал себя с принцем и скрепя сердце признавал, что у того весьма располагающая наружность, прекрасные живые глаза, смело очерченный нос, мягкое, приветливое обхождение – словом, все внешние достоинства, способные подкупить каждого. Но, даже находя у своего спутника так много достоинств, он все же считал, что такая личность, как он, Лабакан, может показаться царственному отцу еще желаннее, чем настоящий принц.

Подобные размышления преследовали Лабакана целый день, с ними он и уснул на очередном привале; когда же он утром пробудился и взгляд его упал на спящего подле него Омара, которому ничто не мешало спокойно спать и грезить об уготованном ему счастье, у него зародилась мысль хитростью или силой добиться того, в чем ему отказала неблагоприятная судьба; кинжал, этот отличительный признак возвращающегося на родину принца, был заткнут за пояс спящего. Лабакан потихоньку вытащил его, чтобы вонзить в грудь владельца. Но мысль об убийстве возмутила миролюбивую душу подмастерья; он удовольствовался тем, что завладел кинжалом, оседлал себе более резвую лошадь принца, и когда Омар, проснувшись, увидел, что у него отняты все надежды, вероломный спутник успел опередить его уже на много миль.

Ограбление принца свершилось как раз в первый день священного месяца рамадана, так что Лабакану оставалось еще четыре дня, чтобы в назначенный срок явиться к колонне Эль-Зеруйя, хорошо ему известной. Хотя до местности, где находилась колонна, было теперь никак не более двух дней пути, он все-таки поспешил туда, ибо все время боялся, что настоящий принц его нагонит.

К концу второго дня Лабакан издали различил колонну Эль-Зеруйя. Она стояла на небольшой возвышенности в обширной долине и видна была на расстоянии двух-трех часов пути. При виде ее сердце Лабакана забилось сильнее; хотя в последние два дня у него было достаточно времени обдумать ту роль, которую он собрался играть, однако нечистая совесть вселяла в него некоторое смущение; но мысль, что он рожден быть принцем, приободрила его, и в конце концов он уверенно направился к цели.

Местность вокруг колонны Эль-Зеруйя была необитаема и пустынна, и новому принцу пришлось бы туго с пропитанием, если бы он не запасся едой на несколько дней. В ожидании своей дальнейшей судьбы он расположился на отдых под пальмами, возле своей лошади.



Назавтра, около полудня, он увидел, что вверх по долине к колонне Эль-Зеруйя движется целая процессия на лошадях и верблюдах. Процессия остановилась у подножия холма, на котором стояла колонна, и все расположились в великолепных шатрах, как обычно устраиваются на привал караваны богатых пашей или шейхов. Лабакан догадался, что все эти люди явились сюда ради него, и охотно представил бы им уже сегодня их будущего повелителя; однако он обуздал свое нетерпение выступить в роли принца, решив ждать до следующего утра, когда его смелые вожеления будут удовлетворены.

Восходящее солнце засияло над самым торжественным днем в жизни счастливец-портного и разбудило его к новой высокой доле государева сына взамен известного прозябания.

Правда, когда он взнуздывал коня, собираясь ехать к колонне, ему стало не по себе при мысли о бесчестности такого поступка; правда, ему ясно представилась скорбь обманутого в своих лучших

надеждах истинного царского сына, – однако жребий был брошен, что сделано, того не изменишь, а самомнение нашептывало ему, что с виду он достаточно величав и смело может явиться пред очи могущественного государя в качестве его сына. Ободренный этой мыслью, он вскочил на коня, собрал всю свою отвагу, чтобы пустить его настоящим галопом, и в четверть часа достиг подножия холма. Спрыгнув с коня, он привязал его к кустарнику, в изобилии росшему на склоне, затем вынул из-за пояса кинжал принца Омара и стал взбираться на холм; у подножия холма шестеро мужчин стояло вокруг важного старца царственной осанки; великолепный парчовый кафтан, опоясанный белой кашемировой шалью, белый тюрбан, осыпанный драгоценными камнями, – все свидетельствовало о высоком сане и большом богатстве этого старца.

Лабакан направился прямо к нему, низко склонился перед ним и сказал, протягивая ему кинжал:

– Я тот, кого вы ищете.

– Хвала пророку, сохранившему тебя! – отвечал старик со слезами радости. – Обними твоего старого отца, мой возлюбленный сын Омар!

Чувствительный портной был очень растроган этими торжественными словами; он бросился в объятия старого государя в порыве радости, смешанной со стыдом.

Но ему суждено было лишь один миг наслаждаться ничем не омраченным блаженством своего нового положения; высвободившись из объятий царственного старца, он заметил, как по долине к холму спешит какой-то всадник. У всадника и у лошади вид был необычайно странный; не то от усталости, не то из упрямства лошадь не хотела идти; ежеминутно спотыкаясь, она тащилась не то рысцой, не то шагом, а всадник подгонял ее и руками и ногами. Лабакан сразу узнал свою лошадь Мурфу и настоящего принца Омара, но в него прочно вселился злой дух лжи и обмана, и он порешил во что бы то ни стало всеми силами отстаивать присвоенные себе права.

Уже издали было видно, что всадник делает какие-то знаки. Вот он, несмотря на медленную рысцу коня Мурфы, достиг подножья холма, спрыгнул с лошади и бросился вверх по холму.

– Остановитесь! – кричал он. – Кто бы вы ни были, остановитесь и не поддавайтесь обману подлого лгуна! Я Омар, и горе тому, кто посмеет злоупотребить моим именем!

При таком неожиданном обороте дела лица всех, стоящих у колонны, выразили глубокое изумление, особенно поражен был, по-видимому, старец, переводивший недоуменный взгляд с одного на другого. Но Лабакан заговорил с деланным спокойствием:

– Милостивый отец и повелитель, не смущайтесь речами этого человека. Это, насколько мне известно, сумасшедший портновский подмастерье из Александрии, по имени Лабакан, который скорее заслуживает вашего сострадания, нежели гнева.

Слова эти привели принца в неистовство; кипя яростью, хотел он кинуться на Лабакана, но присутствующие бросились между ними и удержали его, а государь сказал:

– Да, это верно, возлюбленный сын мой, бедняга действительно не в своем уме! Свяжите его и посадите на одного из наших дромадеров. Быть может, нам удастся чем-нибудь помочь несчастному.

Ярость принца улеглась; рыдая, обратился он к государю:

– Сердце подсказывает мне, что вы мой отец; во имя матери моей, заклинаю вас выслушать меня!

– Нет, боже избави, – отвечал тот, – он опять начинает заговариваться; и откуда только человеку мог взбрести на ум такой вздор!

С этими словами он взял руку Лабакана и, опираясь на него, спустился с холма; оба они сели на прекрасных, покрытых дорогими попонами коней и двинулись во главе шествия по долине. А несчастному принцу скрутили руки, самого его крепко привязали к верблюду, и все время по бокам ехали два всадника, зорко следившее за каждым его движением.

Царственный старец был Саауд, султан Вехабитов. Он долго не имел детей; наконец у него родился сын, о котором он столько времени мечтал; но звездочеты, у которых он спросил о грядущей судьбе мальчика, высказались так: «Вплоть до двадцать второго года жизни ему грозит опасность, что место его будет занято врагом». Посему, для вящего спокойствия, султан отдал сына на воспитание своему старому испытанному другу Эльфи-бею и двадцать два томительных

года ожидал лицезреть его.

Все это султан рассказал своему мнимому сыну и выразил всяческое удовлетворение его осанкой и полным достоинства обхождением.

Когда они прибыли во владения султана, жители повсюду их встречали радостными кликами, ибо слух о прибытии принца с быстротой молнии распространился по селам и городам. На улицах, по которым они следовали, были воздвигнуты арки из веток и цветов, яркие многоцветные ковры украшали дома, и толпы народа громко воссылали хвалу богу и его пророку, даровавшему им такого прекрасного принца. Все это наполнило восторгом тщеславное сердце портного, – тем несчастнее должен был чувствовать себя настоящий принц Омар, который в немом отчаянии, по-прежнему связанный, следовал за процессией. Никто и не помышлял о нем посреди всеобщего ликования, относившегося собственно к нему. Тысячи голосов без конца выкликали имя Омара, но на него, по праву носившего это имя, не обращал внимания никто, – разве что время от времени кто-нибудь спрашивал, кого это везут так крепко связанным, и ответ сопровождающих, что это сумасшедший портной, – мучительно отдавался в ушах принца.

Наконец процессия прибыла в столицу султана, где все приготовления к торжественной встрече были еще пышнее, чем в других городах. Султанша, пожилая почтенная женщина, ожидала их со всем своим двором в самой парадной зале дворца. Пол этой залы был покрыт гигантским ковром, стены украшены полотнищами голубого сукна, окаймленными золотым шнуром и кистями и повешенными на серебряных крюках.

Было уже темно, когда прибыла процессия, а потому в зале горело множество цветных фонарей, обращавших ночь в день. Но ярче всего расцветывали они глубину зала, где на троне восседала султанша. К трону, сплошь покрытому золотом и усыпанному крупными аметистами, вели четыре ступеньки. Четверо знатнейших эмиров держали над головой султанши красный шелковый балдахин, а шейх Медины обведал ее опахалом из павлиньих перьев.

Так ожидала султанша супруга и сына; она тоже не видела его с самого дня его рождения, но он снился ей столько раз в ее вещих снах, что она узнала бы его, долгожданного, из тысячи. Вот послышался гул приближающегося шествия; звуки труб и барабанов сливались с ликованием толпы; вот отзвучал стук копыт, промчавшихся по двору лошадей, все ближе и ближе раздавались шаги, наконец, двери залы распахнулись, и, сквозь ряды павших ниц слуг, султан об руку с сыном поспешил к трону султанши.

– Вот, – промолвил он, – я привел тебе того, по ком ты так давно тоскуешь.

Султанша прервала его.

– Это не мой сын! – воскликнула она. – Это не те черты, которые во сне мне показал пророк!

Едва только султан собрался упрекнуть ее в суеверии, как дверь распахнулась, и в залу ворвался принц Омар, преследуемый своими стражниками, от которых он вырвался невероятным усилием. Задыхаясь, упал он к подножию трона.

– Здесь я хочу умереть! Прикажи меня убить, жестокий отец, ибо дольше я не в силах сносить такое поношение!

Слова эти озадачили всех; несчастного окружили, и подоспевшие стражники собрались уже схватить его и связать снова, когда султанша, которая смотрела на происходившее в безмолвном изумлении, вскочила с трона.

– Остановитесь! – воскликнула она. – Это и есть настоящий! Это он, кого мои глаза не видели никогда, но кого чуяло мое сердце!

Стражники невольно отступили от Омара, однако султан, запыхав яростным гневом, приказал им связать безумца.

– Здесь решаю я, – произнес он повелительным тоном, – и здесь судят не на основании женских снов, а на основании верных и непреложных признаков. Вот это (и он указал на Лабакана) мой сын, ибо он принес мне условный знак моего друга Эльфи – кинжал.

– Он украл его! – закричал Омар. – Он во зло употребил мою простодушную доверчивость!

Но султан не внял голосу своего сына, ибо привык во всех делах упрямо следовать лишь

собственному суждению; посему он приказал силой вытащить несчастного Омара из залы, сам же с Лабаканом проследовал к себе в покои, полный злобы на султаншу, свою супругу, с которой, однако, в мире и согласии прожил целых двадцать пять лет.

Султанша же была в жестоком горе от случившегося; она не сомневалась, что наглый обманщик овладел сердцем султана, ибо в вещих снах она видела своим сыном того несчастного.

Когда скорбь ее несколько улеглась, она стала обдумывать средство, как убедить супруга в его неправоте. Это было, конечно, нелегко, ибо у того, кто выдавал себя за ее сына, оказался условный знак – кинжал, и, как она узнала, он столько расспрашивал Омара о его прежней жизни, что играл свою роль, не сбиваясь.

Она призвала к себе людей, сопровождавших султана к колонне Эль-Зеруйя, чтобы подробно услышать обо всем, а затем решила обсудить это дело с самыми приближенными невольницами. Они придумывали то одно, то другое средство; наконец заговорила Мелихзала, умная старуха черкешенка.

– Если я не ошибаюсь, высокочтимая повелительница, человек, вручивший кинжал, назвал Лабаканом, сумасшедшим портным, того, кого ты считаешь своим сыном?

– Да, верно, – ответила султанша, – но почему ты об этом спрашиваешь?

– А не думаете ли вы, что тот плут навязал ему свое собственное имя? – продолжала невольница. – Если это так, я знаю прекрасное средство уличить плута, но скажу его вам только на ухо.

Султанша подставила рабыне ухо, и та шепотом дала ей совет, видимо пришедшийся султанше по вкусу, потому что она собралась немедленно идти к султану.

Султанша была женщина умная, хорошо знавшая слабые стороны султана и умевшая пользоваться ими. Посему она сделала вид, что уступает ему и соглашается признать сына, но только испрашивает себе одно условие; султан, который сожалел уже о своей вспышке, согласился принять ее условие, и она заговорила:

– Мне хотелось бы испытать ловкость обоих. Другая, может быть, заставила бы их скакать верхом, фехтовать и метать копья, но это умеет всякий; а я хочу дать им такую задачу, для которой требуется сообразительность. Пусть каждый из них сошьет по кафтану и паре штанов, а мы посмотрим, кто сделает лучше.

Султан засмеялся и ответил:

– Нечего сказать, умную штуку вы придумали! Чтобы мой сын состязался с твоим сумасшедшим портным в том, кто сошьет лучше кафтан? Нет, это не дело!

Однако султанша напомнила ему, что он заранее согласился на ее условие, и султан, который всегда держал слово, наконец сдался, поклявшись, впрочем, что, какой бы прекрасный кафтан ни изготовил сумасшедший портной, он все-таки не признает его своим сыном.

Султан сам пошел к сыну и попросил его подчиниться причуде матери, которая непременно желает видеть кафтан, изготовленный собственноручно им. У простодушного Лабакана сердце взыграло от радости. «Если только дело за этим, – подумал он, – то я уж сумею угодить султанше».

Во дворце отвели две комнаты: одну для принца, другую для портного, – там должны были они испытать свое искусство, причем каждому было выдано только потребное количество шелка, ножницы, игла и нитки.

Султану было очень любопытно, какой такой кафтан изготовит его сын, но и у султанши тревожно билось сердце: удастся ли ее хитрость или нет? Для работы обоим был дан двухдневный срок. На третий день султан повелел призвать свою супругу, и когда она явилась, он послал за кафтанами и их мастерами. Торжествуя, вошел Лабакан и развернул свое изделие перед изумленными взорами султана.

– Посмотри-ка, отец, – сказал он, – посмотри-ка, высокочтимая матушка, разве это не образец всех кафтанов? Я побьюсь об заклад с самым искусным при дворном мастером, что лучше ему не сшить.

Султанша усмехнулась и обратилась к Омару:

– А что ты смастерил, сын мой?

С негодованием бросил тот об пол шелк и ножницы.

– Меня учили обуздывать коня и владеть саблей, а копье мое попадает в цель за шестьдесят шагов, но портняжное ремесло мне неведомо, оно не подобало бы воспитаннику Эльфи-бея, повелителя Каира.

– О, ты истинный сын моего господина! – воскликнула султанша. – Ах! Дай мне обнять тебя, дай назвать тебя сыном! Простите, мой супруг и повелитель, – обратилась она затем к султану, – что я прибегла к этой хитрости. Разве вы не видите теперь, кто принц, а кто портной? Воистину, кафтан, изготовленный вашим сыном, великолепен, и мне бы очень хотелось узнать, у какого мастера он обучался.

Султан сидел погруженный в глубокую задумчивость, недоверчиво поглядывая то на жену, то на Лабакана, который тщетно старался скрыть краску стыда и досады на то, что так глупо выдал себя. – И этого доказательства недостаточно, – сказал султан, – однако, хвала Аллаху, я нашел средство узнать, обманут я или нет.

Он приказал оседлать своего самого быстрого коня, вскочил на него и поскакал к лесу, который начинался неподалеку от города. Там, по старому преданию, жила добрая фея по имени Адолзаида, которая часто и раньше в тяжелые минуты приходила своим советом на помощь многим государям его рода, – к ней и поспешил султан.

Посреди леса была полянка, окруженная высокими кедром. По преданию, там жила фея, и редко смертный отваживался проникнуть туда, ибо с давних пор страх перед тем местом передавался по наследству от отца к сыну.

Прибыв на то место, султан слез с коня, привязал его к дереву, стал посреди полянки и произнес громким голосом: «Если это правда, что ты в трудную минуту не отказывала моим предкам в добром совете, то не презри просьбы их внука и помоги мне в таком деле, где бессилён человеческий разум!»

Едва он произнес последние слова, как один из кедров раскрылся, и оттуда вышла окутанная покрывалом женщина в длинном белом одеянии.

– Я знаю, зачем ты пришел ко мне, султан Саауд! Намерения твои чисты, посему я не отрину твоей просьбы. Вот две шкатулки. Возьми их, и пусть те двое, что называют себя твоими сыновьями, сделают выбор; я знаю, что твой настоящий сын сделает выбор надлежащий. – Так сказала женщина под покрывалом и протянула султану две маленькие шкатулочки из слоновой кости, богато украшенные золотом и жемчугами; на крышках, которые султан тщетно пытался открыть, были надписи из вделанных в них алмазов.

На обратном пути султан ломал себе голову, что бы могло быть в шкатулочках, которые ему никакими силами не удавалось открыть, и надписи тоже не помогали разгадке, ибо на одной шкатулочке стояло: «Честь и слава», а на другой: «Счастье и богатство». Султан подумал про себя, что и для него самого выбор между этими двумя надписями оказался бы не легок, ибо обе они одинаково заманчивы, обе одинаково соблазнительны.

Вернувшись к себе во дворец, он призвал султаншу и сообщил ей решение феи; она преисполнилась сладостной надежды, что тот, к кому влекла ее душа, выберет шкатулочку, свидетельствующую о его царственном происхождении.

Перед тронем султана были поставлены два стола; на них султан собственноручно водрузил обе шкатулки, затем поднялся на трон и подал знак одному из своих рабов открыть двери залы. Блестящая толпа пашей и эмиров страны, которых созвал султан, хлынула в залу сквозь раскрытые двери. Они расположились на великолепных подушках, разложенных вдоль стен.

Когда все уселись, султан вторично подал знак, и в залу ввели Лабакана; горделивой поступью прошел он по зале, пал ниц перед тронем и спросил:

– Что угодно моему отцу и господину?

Султан приподнялся на троне и заговорил:

– Сын мой, справедливость твоих притязаний на это имя подвергнута сомнению! В одной из этих шкатулочек содержится доказательство твоего высокого происхождения! Выбирай! Я не сомневаюсь, что ты выберешь верно!

Лабакан поднялся с колен и подошел к шкатулочкам; он долго обдумывал, какую взять, наконец сказал:

– Глубокочтимый отец мой, что может быть выше счастья называться твоим сыном; что благороднее, чем богатство твоего благоволения? Я выбираю эту шкатулочку, на которой написано «Счастье и богатство».

– Мы после узнаем, правильно ли ты выбрал; а пока садись вот туда на подушки рядом с мединским пашой, – сказал султан и подал знак рабам.

Тогда ввели Омара; взгляд его был мрачен, лицо печально, и вид его возбуждал единодушное сочувствие всех присутствующих. Он склонил колени перед тронем и спросил, что повелевает султан.

Султан приказал ему выбрать одну из двух шкатулочек. Он поднялся и подошел к столу.

Внимательно прочитав обе надписи, он заявил:

– В последние дни я познал, сколь непрочно счастье и сколь преходяще богатство; но в эти же дни я познал, что храбрец обладает одним несокрушимым достоянием – честью и что блестящая звезда славы не закатывается вместе со счастьем. И пусть мне придется лишиться короны, – все равно, жребий брошен: «Честь и слава», я выбираю вас!

Омар положил руку на выбранную им шкатулочку, но султан приказал ему остановиться; он подал знак Лабакану в свою очередь подойти к столу, и тот тоже положил руку на выбранную им шкатулочку.

Тогда султан велел принести кувшин воды из святого источника Земзем в Мекке, омыл руки для молитвы, обернулся к востоку, пал ниц и стал молиться: «Бог отцов моих, ты, столетиями сохранявший наш род чистым и незапятнанным, не допусти недостойного посрамить имя Аббасидов! Возьми под свою защиту моего истинного сына в этот час испытания!»

Султан встал с колен и снова взошел на трон; все присутствующие замерли в ожидании, не смеядохнуть, – было бы слышно, если бы по зале пробежал мышонок, такая царила напряженная тишина; стоящие позади вытягивали шеи, чтобы видеть шкатулочки.

Тогда султан изрек: «Откройте шкатулочки!» – и шкатулочки, которые раньше никакими силами нельзя было открыть, внезапно распахнулись сами собой.

В шкатулочке, выбранной Омаром, на бархатной подушке лежали золотая корона и скипетр, в шкатулочке же Лабакана – большая игла и моток ниток! Султан приказал обоим поднести к нему шкатулочки. Он взял с подушечки маленькую корону, – что за чудо! – пока он держал ее, она в его руках становилась все больше, пока не достигла размеров настоящей короны. Он возложил корону на голову своего сына Омара, преклонившего перед ним колени, поцеловал его в лоб и повелел ему сесть по правую свою руку.

Затем повернулся к Лабакану и сказал:

– Есть такая старая поговорка: знай сверчок свой шесток! И тебе, видимо, надо знать свою иглу. Хотя ты и не заслужил моей милости, но за тебя просил тот, кому я сегодня ни в чем не могу отказать. Посему я дарю тебе твою жалкую жизнь, но если хочешь внять моему совету, то поспеши покинуть мою страну!

Посрамленный, уничтоженный, бедный портновский подмастерье не мог ничего ответить. Он упал в ноги принцу, и слезы полились у него из глаз.

– Простите ли вы меня, принц? – спросил он.

– Верность другу, великодушие к врагу – вот чем славятся Аббасиды, – отвечал принц, поднимая его с пола, – иди с миром!

– О, ты истинный сын мой! – воскликнул растроганный султан и склонился на грудь сына.

Эмиры и паши и все вельможи государства поднялись со своих мест и провозгласили славу новому царскому сыну. Под всеобщее ликование Лабакан потихоньку прокрался из залы со своей шкатулочкой под мышкой.

Он спустился в конюшню султана, оседлал свою клячу Мурфу и выехал из городских ворот, держа путь на Александрию. Вся его жизнь в роли принца показалась ему сном, и только чудесная

коробочка, богато украшенная жемчугами и алмазами, доказывала, что то был не сон. Возвратившись в Александрию, он подъехал к дому своего прежнего хозяина, слез на землю, привязал свою лошаденку к двери и вошел в мастерскую. Хозяин сразу не узнал его и церемонно спросил, чем может ему служить, но когда он ближе всмотрелся в посетителя и узнал своего старого знакомого Лабакана, то позвал своих подмастерьев и учеников, и все они яростно набросились на несчастного Лабакана, который не ожидал такого приема; они толкали и колотили его утюгами и аршинами, кололи иглами и пыряли острыми ножницами, пока он в изнеможении не опустился на кучу старой одежды.

Пока он лежал, хозяин выговаривал ему за украденную одежду; напрасно клялся Лабакан, что он и воротился-то с целью возместить все, напрасно предлагал возмещение убытков в трехкратном размере, – хозяин и подмастерья опять накинулись на него, еще сильнее исколотили и вышвырнули за дверь. Избитый и истерзанный, сел он на своего Мурфу и поплелся в караван-сарай. Там он приклонил свою усталую, разбитую голову и стал размышлять о земной юдоли, о заслугах, столь часто не признаваемых, и о ничтожности и непостоянстве всех благ мирских. Он уснул с намерением отказаться от высоких устремлений и стать честным ремесленником.

И на следующий день он остался при своем намерении – должно быть, тяжелые кулаки хозяина и подмастерьев выбили из него всякие кичливые бредни.

Он продал за большую цену свою шкатулочку, купил себе дом и открыл портняжную мастерскую. Устроив все как следует и прибавив над домом вывеску: «Лабакан, портняжных дел мастер», он уселся, взял ту иглу и нитки, что оказались в шкатулочке, и принялся штопать кафтан, который так жестоко изодрал на нем хозяин. Кто-то отвлек его от работы, и когда он снова хотел взяться за нее, что за удивительное зрелище представилось ему!

Игла усердно шила дальше, без всякой посторонней помощи, и делала такие тонкие искусные стежки, каких не делал и сам Лабакан в свои вдохновеннейшие минуты!

Поистине, самый малый дар доброй феи обладает великой ценностью! Но дар этот имел еще и другую ценность, вот какую: моток ниток никогда не переводился, как бы прилежно ни работала игла.

У Лабакана появилось много заказчиков, и скоро он прослыл по всей округе самым знаменитым портным; он кроил одежду и делал первый стежок своей иглой, а дальше та проворно шила сама, не останавливаясь, пока одежда не была готова. Скоро все в городе стали шить у мастера Лабакана, ибо он работал прекрасно и брал очень дешево, и только одно смущало жителей Александрии, а именно, что он обходился без помощников и работал при закрытых дверях.

Итак, надпись на шкатулочке, сулившая счастье и богатство, оправдалась; счастье и богатство, хотя и в скромных пределах, сопровождали шаги простака портного, а когда он слышал о славе молодого султана Омара, которая была на устах у всех, когда он слышал, что этот храбрец стал любимцем и гордостью своего народа и грозой врагов, то прежний принц думал про себя: «А ведь лучше, что я остался портным, потому что честь и слава далеко небезопасны». Так жил Лабакан, довольный собой, уважаемый согражданами, и если игла за это время не потеряла своей силы, то она шьет и по сию пору вечной ниткой доброй феи Адолзаиды.

На восходе солнца караван снялся с места и вскоре достиг Биркет-эль-Гада, или Колодца Пилигримов, откуда до Каира оставалось всего три часа пути. Его прибытия поджидали, и купцы наши были очень обрадованы, увидев друзей, выехавших им навстречу из Каира. Они вступили в город через Бебельфальхские ворота, ибо считается добрым знаком при возвращении из Мекки вступать в город через те самые ворота, через которые вступил в него пророк.

На базарной площади четверо турецких купцов распрощались с чужестранцем и греческим купцом Цалевкосом и отправились вместе с друзьями по домам. Цалевкос же указал чужестранцу хороший караван-сарай и пригласил его к себе отобедать. Чужестранец согласился, пообещав прийти, как только сменит одежду.

Грек позаботился о том, чтобы как можно лучше попотчевать чужестранца, к которому привязался

за время дороги, и когда все яства и напитки были поданы, сел, поджидая гостя.

Наконец по галерее, ведущей к его покоям, раздались медленные и тяжелые шаги. Он встал, чтобы по-дружески приветствовать гостя на пороге; но, отворив дверь, отпрянул в ужасе, ибо перед ним стоял прежний страшный человек в красном плаще. Он еще раз взглянул на него, – сомнений быть не могло: та же величавая, повелительная осанка, та же маска, из которой на него сверкали темные глаза, и тот же, затканый золотом красный плащ, столь памятные ему по самым тяжким часам его жизни.

Разноречивые чувства бушевали в груди Цалевкоса; он давно уже примирился с этим образом, который сохранил в памяти, и все простил ему, но вид его растравил старые раны, – все долгие часы предсмертной тоски, вся скорбь, что отравила цвет его молодости, вихрем пронесли перед его духовным взором.

– Что надобно тебе, страшный человек? – вскричал грек, меж тем как видение не двигалось с порога. – Поспеши прочь, пока я не проклял тебя!

– Цалевкос! – произнес из-под маски знакомый голос. – Так-то ты принимаешь своего гостя?

Говоривший снял маску, откинул плащ, – то был Селим Барух, чужестранец.

Но Цалевкос не мог прийти в себя; его пугал чужестранец, в котором он так явственно увидел незнакомца с Ponte Vecchio, но привычное гостеприимство взяло верх; он жестом пригласил чужестранца к столу.

– Я читаю у тебя в мыслях, – заговорил тот, когда они уселись, – взгляд твой вопрошает меня; я мог бы смолчать и навеки скрыться с глаз твоих, но мне должно оправдаться перед тобой, и потому я решился явиться к тебе в прежнем своем облике, под страхом навлечь на себя твое проклятие. Ты как-то сказал мне: «Вера отцов повелевает мне возлюбить его, ибо он, конечно, несчастнее меня». Поверь, что это так, и выслушай мое оправдание.

Мне надо начать издали, дабы ты мог до конца понять меня. Я появился на свет в Александрии, от родителей-христиан. Отец мой, младший сын старинного и славного французского рода, был консулом своей страны в Александрии. С десятилетнего возраста я воспитывался во Франции у одного из братьев моей матери и лишь через несколько лет после начала Революции, вместе с дядей, не чувствовавшим себя в безопасности на родине, отправился искать пристанища за морем, у моих родителей. Уповая обрести покой, отнятый у нас восставшим французским народом, прибыли мы в отчий дом. Но увы! В родном моем доме не все было ладно. Внешние бури того беспокойного времени, правда, еще не докатились сюда, но тем неожиданнее поразило несчастье внутренний мир нашей семьи. Брат мой, подающий большие надежды юноша, первый секретарь моего отца, незадолго до того женился на дочери одного флорентийского вельможи, жившего по соседству с нами; за два дня до нашего приезда молодая жена внезапно исчезла, и, несмотря на все старания, ни нашей семье, ни ее отцу не удалось напасть на ее след. Пришлось предположить наконец, что она во время прогулки забрела слишком далеко и попала в руки разбойников. Эта мысль была бы, пожалуй, отрадней моему несчастному брату, чем истина, не замедлившая обнаружиться. Изменница уехала за море с молодым неаполитанцем, которого встречала в доме своего отца. Брат мой, до крайности возмущенный ее поступком, приложил все усилия, чтобы привлечь к ответу преступницу, но тщетно: хлопоты его, наделав много шума в Неаполе и во Флоренции, лишь навлекли на нас еще большее несчастье. Флорентийский вельможа отправился к себе на родину, якобы затем, чтобы защитить права моего брата, на деле же – чтобы погубить нас. Он пресек во Флоренции все розыски, предпринятые братом, и всяческими кознями добился того, что отец мой и брат попали в немилость к своему правительству, были захвачены с помощью постыднейших уловок, отвезены во Францию и там обезглавлены. Несчастливая моя мать лишилась рассудка и, только после десяти месяцев мучений, нашла избавление в смерти, придя, однако, в полное сознание за несколько дней до кончины. Итак, я остался одинок в целом мире, но лишь одна мысль наполняла мне душу, одна мысль заставляла меня забывать даже скорбь: то было мощное пламя, что зажгла во мне мать в свой последний час.

В последние часы, как я уже говорил тебе, сознание к ней возвратилось, она позвала меня и

спокойно говорила со мной о нашей участи и о своей кончине. Но потом она велела всем уйти из комнаты, с торжественным видом поднялась на своем убогом ложе и сказала, что я получу ее благословение, лишь поклявшись совершить то, что она завещает мне. Потрясенный словами умирающей матери, я дал священный обет сделать то, что она мне укажет. Тогда она стала поносить флорентийца и его дочь и, под страшной угрозой своего проклятия, приказала мне отомстить ему за нашу несчастную семью. Она испустила дух у меня на руках. Жажда мести давно таилась в моей душе; теперь она вспыхнула с огромной силой. Я собрал остатки отцовского наследства и поклялся либо отомстить, либо умереть.

Вскоре я приехал во Флоренцию и жил там, скрываясь от всех. Замыслам моим отчасти препятствовало то положение, которое занимали мои враги. Старик флорентиец стал губернатором, а значит, располагал всеми средствами погубить меня при малейшем подозрении. Случай пришел мне на помощь. Однажды вечером мне на улице повстречался человек в хорошо знакомой ливрее. По неверной походке, по мрачному виду и по срывавшимся у него с уст вполголоса «Santo sacramento», «Maledetto diavolo»[*] я узнал старика Пьетро, слугу флорентийца, которого помнил еще по Александрии. Я не сомневался, что гнев его относится к хозяину, и решил воспользоваться его недовольством. Он был очень удивлен, увидав меня, выложил мне свои обиды на хозяина, которому с тех пор, как он стал губернатором, ничем не угодишь; и мое золото в сочетании с его гневом не замедлило привлечь его на мою сторону. Самое трудное было сделано. Я нашел человека, который за плату в любую минуту готов был открыть мне двери в дом врага, – теперь план мести стал быстро близиться к осуществлению. Жизнь старого флорентийца не могла, по моему разумению, окупить гибель моей семьи. Смерть самого дорогого для него существа – дочери его Бианки – вот что надлежало ему испытать. Ведь именно она так подло надругалась над моим братом, ведь именно она была главной виновницей наших бед. Весть, что Бианка как раз собирается вторично замуж, оказалась желанной для моего алчущего мести сердца, – решено, она должна умереть. Но у меня самого рука не подымалась на убийство, от Пьетро я тоже не ждал решимости; поэтому мы стали подыскивать человека, который взялся бы за это дело. Я даже не пытался подкупить кого-нибудь из флорентийцев, ибо никто из них не пошел бы против губернатора. Тут Пьетро набрел на мысль, которую я и осуществил впоследствии, а в исполнители ее он предложил тебя как врача и чужестранца. Дальнейшее тебе известно. Лишь щепетильная честность твоя и осторожность едва не разрушили моего замысла. Вот откуда приключение с плащом. Пьетро впустил нас во дворец губернатора и столь же незаметно вывел бы нас оттуда, если бы мы с ним не убежали, ужаснувшись зрелища, которое увидели в полуоткрытую дверь. Гонимый страхом и раскаянием, я пробежал шагов двести и в изнеможении опустился на ступени какой-то церкви. Там лишь я овладел собой, и первая моя мысль была о тебе и о твоей ужасной участи, если тебя застигнут там, в доме.

Я прокрался назад ко дворцу, но не нашел ни тебя, ни Пьетро, однако дверца была отворена, и я понадеялся, что ты воспользовался возможностью бегства. Но, с наступлением дня, страх преследования и непреодолимое раскаяние погнали меня прочь, за пределы Флоренции. Я поспешил в Рим. Вообрази мое потрясение, когда там через несколько дней стали повсюду рассказывать об этом событии, добавляя, что убийца, греческий врач, пойман. В томительной тревоге поспешил я назад во Флоренцию: если уж раньше мечь моя казалась мне чрезмерной, то теперь я проклинал ее, ибо считал, что жизнь твоя – слишком дорогая за нее цена. Я приехал в тот самый день, когда ты лишился руки. Не стану говорить о своих чувствах при виде того, как ты взошел на эшафот и мужественно претерпел страдание. Но когда кровь твоя хлынула потоком, во мне созрело решение скрасить остаток твоих дней. Что было потом, ты знаешь сам, – мне остается досказать, зачем я совершил с тобою этот путь.

Мысль, что ты все еще не простил меня, тяжким гнетом лежала на мне, и вот я решился провести подле тебя несколько дней и наконец-то дать тебе отчет в том, чем я грешен перед тобой.

Молча выслушал грек своего гостя, и когда тот кончил, с кротким видом протянул ему руку.

– Я так и знал, что ты несчастней меня, ибо то жестокое деяние, подобно грозовой туче, навеки

повисло над тобой. Прощаю тебя от души. Но дай мне задать тебе вопрос: как ты очутился в таком облике среди пустыни? Чем занялся ты после того, как купил мне в Константинополе дом?

- Я возвратился в Александрию, - отвечал гость, - ненависть против всего рода человеческого бушевала у меня в груди, - жгучая ненависть, в особенности против тех народов, которые именуются просвещенными.

Поверь мне, в среде мусульман мне дышалось вольнее!

Не успел я пробывать в Александрии нескольких месяцев, как соотечественники мои полонили ее.

Для меня они были только палачами моего отца и брата: поэтому я собрал нескольких единомышленников из знакомой молодежи, и мы примкнули к тем отважным мамелюкам, что не раз наводили страх на французское войско. Когда кампания закончилась, я не мог решиться приступить к мирным трудам. Вместе с кучкой друзей-единомышленников я вел беспокойную, бродячую, посвященную борьбе и охоте жизнь; мне хорошо живется с этими людьми, которые почитают меня как своего владыку, ведь мои азиаты - народ хоть и не такой просвещенный, как ваши европейцы, зато они чужды зависти и клеветы, тщеславия и себялюбия.

Цалевкос поблагодарил гостя за откровенность, однако не скрыл от него, что человеку его происхождения и образования более приличествовало бы жить и трудиться в христианских, европейских странах. Он взял руку гостя, прося последовать за ним и жить с ним до самой смерти.

Тот обратил к нему растроганный взор.

- Теперь я вижу, - сказал он, - что ты до конца простил мне и что ты любишь меня. Прими же мою глубочайшую признательность. - Он вскочил с места и выпрямился во весь рост перед греком, которого даже устрасил воинственный вид, мрачно сверкающий взор и глухой таинственный голос чужестранца. - Твое приглашение очень лестно, - продолжал тот, - оно показалось бы заманчивым всякому другому - я же не могу принять его. Конь мой уже оседлан, слуги мои уже ждут меня, прощай, Цалевкос!

Эти чужие друг другу люди, которых столь странно свела судьба, обнялись на прощание.

- Как же мне назвать тебя? Как имя моего гостя, который навеки останется жить у меня в памяти?

- спросил грек.

Чужестранец пылливо взглянул на него, еще раз пожал ему руку и произнес:

- Меня зовут повелителем пустыни. Я разбойник Орбазан.